



Архиепископ ИОАНН САН-ФРАНЦИССКИЙ (Д. А. ШАХОВСКОЙ)

Символика ухода (1975)

Да не будет бегство ваше зимою...

Мр. XIII, 18

Бегство Толстого из Ясной Поляны за несколько дней до смерти было символическим раскрытием и завершением всей его жизни.

Даже близкие последователи не знают, как религиозно понять этот факт. «Моя горячая и неизменная любовь к великому учителю жизни, — пишет биограф, — не позволяет мне разбирать и критиковать его поступок. Преклоняюсь перед величием его подвига. Трудно судить нам, где нужно было проявить более силы самоотвержения, в том, чтобы остаться, или в том, чтобы уйти».

Знаменательна символика этого Ухода.

Толстой *ушел* всецело и по существу. Его уход никак не был приходом к чему-нибудь. Это был уход, никуда не ведущий, никуда не приведший.

Толстой ушел из Отчего Дома, из «Ясной» своей «Поляны» — ясной своей Церкви, — с ее зеленеющих русских апостольских просторов.

Он *только ушел*.

Станция «Астапово», где он так неожиданно *остался*, была символом того, что он *остался* одиноким и непришедшим. И покинутым среди мирового внимания, любопытно устремленного на его последние минуты.

Говорят, пред кончиной человек видит в мановение ока всю свою жизнь, со всеми ее грехами и ошибками. Она как бы проносится вне времени пред его духовным взором.

Такое видение всей своей внутренней жизни мог видеть Толстой от 27 октября до 7 ноября 1910 года.

В ночь на 27-е — *всю ночь видит дурные сны* (запись «Дневника»).

В ночь на 28-е свершается дурная, мучительная явь... Жена в его кабинете всю ночь что-то перелистывает... Он это слышит.

«*Не знаю почему*, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяется дверь и входит С. А., спрашивает о здоровье... *Отвращение и возмущение растут*. Задыхаюсь, считаю пульс: 97, не могу лежать и *вдруг принимаю окончательное решение уехать...*»

«Я дрожу при мысли, что она услышит... Ночь — глаза выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чашу, накальываюсь, стучаюсь о деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни... Я дрожу, ожидая погони...»

* * *

Почему-то сразу поехали в Оптину — прежде всего туда, не зная, куда ехать, куда бежать.

В Оптиной и Шамордине зароились мысли: не остаться ли где поблизости? Взять избу... «Я бы с удовольствием остался жить там и нес бы самые трудные послушания, *только бы меня не заставляли ходить в церковь и креститься*», — сказал он в Шамордине монахине Марии, сестре своей¹. «С большим аппетитом пообедал и остальной вечер говорил спокойно о предметах посторонних».

С приездом дочери Александры «спокойствие его кончилось» (говорит племянница Оболенская)².

Решил ехать дальше...

В последний вечер пребывания в монастыре:

«Мы сидели за столом, — вспоминает Александра Львовна, — и смотрели в раскрытую карту, форточка была растворена, я хотела затворить ее.

«Оставь, — сказал отец, — жарко. Что это вы смотрите?»

«Карту, — сказал Душан Петрович, — коли ехать, то *надо знать куда*».

«Ну покажите мне».

И мы все, наклонившись над столом, стали совещаться, *куда ехать*... Предполагали ехать в Новочеркасск...

Были планы ехать в Болгарию или на Кавказ...

Разговаривая так, мы незаметно для себя все более и более увлекались нашим планом и горячо обсуждали его.

Ему вдруг стало неприятно говорить об этом, неприятно, что он вместе с нами увлекся и стал строить планы, забыв свое любимое правило жизни: жить только настоящим.

Об отъезде больше не говорили. Отец только несколько раз тяжело вздыхал и на мой вопросительный взгляд сказал: «Тяжело». У меня сжалось сердце, глядя на него: такой он был грустный и встревоженный в этот вечер, мало говорил, вздыхал и рано ушел спать.

Около 4 часов утра я услышала, что кто-то стучит к нам в дверь. Я вскочила и отперла. Передо мной, как несколько дней назад, стоял отец со свечой в руках.

«Одевайся скорее, мы сейчас едем...»

* * *

«Не могу описать того состояния ужаса, которое мы испытывали. В первый раз в жизни я почувствовала, что у нас нет пристанища, дома. Накуренный вагон второго класса, чужие и чуждые люди кругом, и нет дома, нет угла, где можно было бы приютиться...» (Воспоминания Александры Львовны).

* * *

Дрожащего, лихорадящего, куда-то стремящегося и *никуда*, в сущности, не едущего, его вывели под руки из душного, людьми наполненного вагона. И повели в чужую комнату.

Там он стал терять память и заговариваться; произносил непонятные слова. Был очень удивлен, что «в комнате не так все, как он привык»

«Я не могу еще лечь, сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул». Когда это было сделано, настаивал, чтобы была поставлена свеча, спички, положена его записная книжка, фонарик, все, к чему привык, без чего не мог жить.

Но и после этого не хотел лечь.

Его принудительно раздели и положили на кровать.

В этой спальне начальника станции он сделал последнюю запись своего «Дневника». Это была потребность привыкшей писать руки.

И — продиктовал последнее свое размышление лихорадочно записывавшей дочери.

«Бог есть неограниченное Все, человек есть только ограниченное проявление Его». И сказал: «Больше ничего». Потом пожевал губами, словно обдумывая сказанное, и опять подозвал дочь: «Или еще лучше так: Бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью...»



И пролежал несколько дней в жару, вскакивая и торопясь снова куда-то уйти, бежать. Кричал дочери: «Пусти, ты не смеешь меня держать, пусти!» Удержанный силой прибежавших, затихал...

Писал что-то на одеяле пальцем. И все хотел что-то диктовать, высказать, и просил прочесть то, что он уже продиктовал... а этого не было... Ничего не было записано, ибо ничего не было сказано. А он волновался, требовал непременно, чтобы прочитали его мысли. А мысли эти были лишь его воображением. И чтобы успокоить его — открыли книгу общечеловеческих мудрых изречений и прочли что-то из Канта, Марка Аврелия, Шиллера. И он успокоился, поверив, что это — его.

Потом все говорил: «Искать, все время искать».

И — «удрать, удрать»...

Метался, страдал, задыхался, раздражался... Врачи кололи его, поддерживая угасающую жизнь. Он видел какие-то несуществующие лица...

Ученики его ограждали от мира и от жены, с которой он прожил 48 лет, и от сыновей, которые приехали с матерью за пять дней до кончины.

В накуренном станционном буфете журналисты, собравшиеся, как вороны, на его смерть, пили пиво, закусывали холодной ветчиной, обсуждали политические события и ловили подробности его умирания.

Ученики дежурили около него, и несколько врачей окружали его.

Он лежал, и вдруг ему стало ясно, что напрасно все эти люди смотрят на него. Он приподнялся — словно во весь рост — и, как мог, громко сказал: «Одно только советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва».

И впал в забытие.

Софья Андреевна, жившая с сыновьями в вагоне на запасных путях, ходила около домика, издали заглядывала в отпиравшуюся дверь и пыталась прильнуть к окну...



Из Оптиной пустыни приехал старец, игумен Варсонофий. В опубликованных за границей воспоминаниях «Об оптинских

старцах» О. В. Ш. * обрисовывается с достаточной ясностью портрет этого, чудесно призванного Богом из офицеров Генерального штаба в иночество, человека. Это был старец, имевший редкие духовные дары.

Приехав, он попросил у Александры Львовны разрешения повидать ее. Александра Львовна ответила запиской: «Простите, батюшка, что не исполняю Вашей просьбы и не прихожу побеседовать с Вами. Я в данное время не могу отойти от больного отца, которому поминутно могу быть нужна». И сообщала о единогласном решении всех семейных и предписании докторов — ничего не «предлагать» отцу и не «насиловать его волю».

О. Варсонофий тотчас же ответил, что он благодарен графине Александре Львовне за письмо, в котором она пишет, что воля ее родителя для нее и для всей семьи поставляется на первом плане. Но сообщает, что граф выразил сестре своей, монахине матери Марии, желание «видеть нас и беседовать с нами, чтобы обрести желанный покой душе своей, и глубоко скорбел, что желание его не исполнилось». Потому он просит ее «не отказать сообщить графу» о его прибытии в Астапово. И так заканчивает свое письмо: «И если он пожелает видеть меня, хоть на 2–3 минуты, то я немедленно приду к нему. В случае же отрицательного ответа со стороны графа я возвращусь в Оптину пустынь, предавши это дело воле Божией...»

«На это письмо игумена Варсонофия я уже не ответила. Да мне было и не до того», — пишет в своих воспоминаниях Александра Львовна.

Толстой умер очень скоро после этого.

Жену к нему пустили только во время его последней агонии **. Дочь просила ее ни в чем не выдавать своего присутствия. Она села на стульчик около хрипящего его тела, беспомощно шептала слова любви и — единственная из всех, окружавших Толстого в эти дни, — крестила его.



* Белая Церковь, 1928.

** В своих «Воспоминаниях», выпущенных в Праге в 1922 г., Лев Львович³ говорит: «В день и час смерти отца все три самые близкие ему женщины — моя мать, сестра Таня и тетя Маша, сестра отца, — слышали шаги за дверями, стуки в стену и шум за окнами, а я видел во сне такие страшные сны, что в ужасе просыпался. Я видел отца, измученного, истерзанного, затоптанного в грязь грубыми руками, в те самые часы, когда он во всяческих страданиях умирал в Астапове».